

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

ХОРОШИЕ ПЛОХИЕ КНИГИ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
О-70

Серия «Эксклюзивная классика»

George Orwell

NARRATIVE ESSAYS
CRITICAL ESSAYS

Перевод с английского

Серийное оформление *Е. Фerez*

Дизайн обложки *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения
The Estate of the late Sonia Brownell Orwell
и литературных агентств
A M Heath & Co Ltd. и Andrew Nurnberg.

Оруэлл, Джордж.

О-70 Хорошие плохие книги : [сборник : перевод с английского] / Джордж Оруэлл. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 416 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-106911-7

«Хорошие плохие книги», «Месть обманывает ожидания», «Горжество открытого огня», «Чашка доброго чая», «Книги против сигарет», «Повешение»...

Эссе Оруэлла, вошедшие в эту книгу, когда-то вызвали сенсацию, скандал и бурное обсуждение в английской прессе и обществе. Да и сейчас их полемичность ничуть не устарела, а читаются они свежо и ярко, о чем бы ни шла в них речь — от политики до поэтики, от социальных проблем до беллетристики. Причина тому — уникальный авторский стиль Оруэлла, умевшего писать даже на отвлеченные темы неподражаемо оригинальные, глубоко личные и даже колючие тексты.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© George Orwell, 1931, 1932, 1936, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948

© Перевод, текст. С. Таск, 2017

© Перевод, текст. И. Доронина, 2017

© Перевод, текст. В. Гольшев, 2017

© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2017

ISBN 978-5-17-106911-7

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Ночлежка

День клонился к концу. Мы, сорок девять человек — сорок восемь мужчин и одна женщина, — лежали на лужайке, ожидая открытия ночлежки. Все слишком устали, чтобы разговаривать. Мы просто обессиленно распластались на траве, с небритыми лицами, ошестинившимися торчавшими изо рта самокрутками. Ветви каштанов над нами были в цвету, а еще выше, в ясном небе, почти неподвижно парили огромные шерстяные облака. Разбросанные по лужайке, мы напоминали пыльный городской мусор. Мы оскверняли пейзаж, как пустые консервные банки и бумажные пакеты, оставленные на пляже. Если разговоры и возникали, они касались коммоданта этой ночлежки для бродяг. Все сходилось во мнении, что он — дьявол, дикарь, деспот, горлодер, богохульник, безжалостный пес. Когда он оказывался рядом, душа уходила в пятки; не одного бродягу он вышвырнул из ночлежки посреди ночи, если тот осмеливался огрызнуться. Когда дело доходило до обыска, он переворачи-

вал тебя вверх тормашками и тряс. И если у тебя находили табак, приходилось дорого платить за это, а если ты являлся с мелочью в кармане (это считалось противозаконным), то уж — помоги тебе Бог. У меня имелось восемь пенсов.

— Ради всех святых, приятель, — посоветовал мне бывалый бродяга, — не вздумай пронести их внутрь. За восемь пенсов тебе грозит семь дней!

Поэтому я закопал свои деньги в ямке под кустами, обозначив место горкой камешков. Потом мы как смогли рассовали спички и табак, потому что их запрещено проносить почти во все ночлежки и положено сдавать при входе. Большинство из нас попрятали их в носки, за исключением тех двадцати или около того процентов, у кого носков не было, — этим приходилось проносить табак в ботинках, засовывая под пальцы. Мы же такой контрабандой набивали носки вокруг щиколоток, рискуя вызвать подозрение в эпидемии слоновой болезни. Однако даже у самых свирепых комендантов ночлежек существовало правило: ниже колен бродяг не обыскивать, и в конце концов попался только один из нас — Скотти, маленький волосатый бродяга с грубым акцентом, который кокни унаследовал от жителей Глазго. Его заначка окурков выпала из носка в неподходящий момент и была изъята.

В шесть часов ворота распахнулись, и мы, шаркая, побрели внутрь. Служитель у ворот

вносил в список наши имена и прочие сведения и отбирал наши пожитки. Женщину отослали в работный дом, а нас — в ночлежку. Это было мрачное холодное побеленное известкой помещение, в котором имелись лишь помывочная комната, столовая и около сотни узких каменных ячеек. Грозный комендант встречал нас в дверях и вел, как стадо, в помывочную, где нам предстояло раздеться и подвергнуться обыску. Это был грубый солдафон лет сорока, который церемонился с бродягами не больше, чем с овцами, загоняемыми в овчарню, — толкал их так и эдак, выкрикивая им в лицо ругательства. Но, подойдя ко мне, он посмотрел тяжелым взглядом и спросил:

— Ты — джентльмен?

— Смею надеяться, — ответил я.

Он снова смерил меня долгим взглядом.

— Что ж, тебе чертовски не повезло, господин, — сказал он. — Чертовски не повезло.

После этого он, видимо, решил обращаться со мной сочувственно, даже с некоторым уважением.

Помывочная являла собой отвратительное зрелище. Все неприглядные секреты нашего исподнего тут выставлялись напоказ: глубоко въевшаяся грязь, прорехи, заплатки, завязки из веревочных обрывков вместо пуговиц, какое-то рваньё, надетое одно поверх другого и большей частью представляющее собой сетку из дыр,

скрепленных лишь грязью. Помещение вмиг наполнилось плотной массой потной наготы, тяжелым запахом немытых тел, смешивающимся с никогда не выветривающимся до конца кисловатым смрадом, свойственным ночлежке. Некоторые из бродяг отказались мыться, сполоснув лишь свои «портянки» — омерзительные грязные тряпки, которыми они оборачивают ступни. Каждому давалось на помывку три минуты. Все были вынуждены пользоваться одними и теми же шестью засаленными скользкими полотенцами.

Когда мы помылись, нашу одежду унесли, а мы облачились в казенные робы до середины бедра — одеяния из серого хлопка, напоминающие ночные рубашки. Потом нам велели идти в столовую, где на раздаточных столах был выставлен ужин: неизменная ночлежная еда, всегда одна и та же, будь то завтрак, обед или ужин, — полфунта хлеба, кусочек маргарина и пинта так называемого чая. Нам потребовалось всего пять минут, чтобы проглотить эту нездоровую нищенскую еду. Потом комендант вручил каждому из нас по три хлопчатобумажных одеяла и развел по ячейкам на ночь. Двери запирали снаружи незадолго до семи вечера и отпирали через двенадцать часов.

В ячейках площадью восемь на пять футов никакого источника света не было, если не считать крохотных зарешеченных окошек, распо-

ложенных высоко в стене, да дверного глазка. Клопов здесь не водилось, кровати и соломенные тюфяки представляли собой редкую роскошь. Во многих ночлежках спать приходилось на деревянной лавке, а то и на голом полу, подушкой служил какой-нибудь скатанный предмет одежды. Получив отдельную ячейку с кроватью, я надеялся на здоровый ночной отдых. Но ничего не вышло, потому что в ночлежке всегда что-то бывает не так; здешней бедой, как я сразу же обнаружил, являлся холод. Было начало мая, и в ознаменование весеннего сезона — наверное, в качестве скромного жертвоприношения богам весны — начальство прекратило подачу пара в трубы отопления.

Хлопчатобумажные одеяла были практически бесполезны. Всю ночь приходилось переворачиваться с боку на бок, засыпая минут на десять, просыпаясь полуокоченевшим, и пялиться в окошко в ожидании рассвета.

Как обычно случается в ночлежках, мне удалось наконец благополучно заснуть лишь тогда, когда наступило время подъема. Комендант тяжелой поступью шел по проходу, отпирал двери и громко кричал, веля каждому показать ногу. Коридор немедленно наполнился неопрятными полураздетыми фигурами, спешащими в умывальню, потому что по утрам была только одна на всех бадья, наполненная водой, так что, кто первый пришел, тот первый и помылся. К мо-

ему приходу двадцать бродяг уже умыли лица. Я лишь бросил взгляд на черную пену, покрывавшую поверхность воды, и предпочел в этот день остаться грязным. Мы поспешно облачились в свою одежду и отправились в столовую, чтобы заглотить завтрак. Хлеб оказался намного хуже обычного, потому что идиот комендант со своими армейскими мозгами с вечера нарезал его ломтями, так что к утру хлеб был твердым, как корабельные сухари. Но после холодной беспокойной ночи мы радовались чаю. Не знаю, что бы делали бродяги без чая или по крайней мере той бурды, которую они называли чаем. Он был их пищей, их лекарством, их панацеей от всех зол. Я совершенно уверен, что без полугаллона этого питья, которое засасывали в себя в течение дня, они не смогли бы выдержать собственное существование.

После завтрака приходилось снова раздеваться для медицинского осмотра, который проводился как мера предосторожности против оспы. Врач явился только через сорок пять минут, так что у всех было время осмотреться вокруг и понять, что мы собой представляли. Зрелище было поучительным. Голые по пояс, дрожащие от холода, мы стояли в коридоре двумя длинными шеренгами. Просачивающийся сюда голубоватый холодный свет с безжалостной ясностью высвечивал нас. Не увидев этого собственными глазами, никто из нас и представить себе не

мог, какой дегенеративный брюхатый сброд мы собой представляли. Нестриженные головы, заросшие помятые лица, впалые грудные клетки, плоские стопы, обвисшие мышцы — здесь были представлены все виды уродства и физической дегенерации. Тела под обманчивым загаром оказались дряблыми и бледными, как у всех бродяг. Двое или трое из нас, по моим наблюдениям, были неизлечимо больны. Какой-то слабоумный «папаша», семидесятичетырехлетний тощий старик с грыжевым бандажом, с красными водянистыми глазами и проваленными щеками, напоминал мертвого Лазаря с какой-нибудь лубочной картинки: он постоянно бродил туда-сюда, бессмысленно хихикал и жеманничал от удовольствия, когда с него спадали штаны. Но мало кто выглядел намного лучше, среди нас не набралось бы и десятка прилично сложенных мужчин, и, думаю, половина нуждалась в лечении.

Поскольку было воскресенье, нас планировали продержать в ночлежке до конца выходных. Как только ушел врач, нас снова загнали в столовую и закрыли за нами дверь. Это было побеленное известкой невыразимо унылое помещение с каменным полом, столами и скамьями из неструганых досок и тюремным запахом. Окна располагались так высоко, что выглянуть в них не представлялось возможным, а единственным украшением являлся свод правил,

грозивший жестокими наказаниями любому бродяге, который поведет себя неподобающе. Нас набилось в комнату столько, что невозможно было двинуть локтем, кого-нибудь при этом не толкнув. Уже сейчас, в восемь часов утра, мы изнывали от тоски в своем плену. Говорить было не о чем, разве что судачить о какой-нибудь ерунде вроде хороших и плохих ночлежек, благоприятных и неблагоприятных графствах, беззакониях полиции и об Армии спасения. Бродяги редко отклоняются от этих тем; они не говорят ни о чем, кроме того, что непосредственно их касается. Между ними не бывает разговоров, заслуживающих этого названия, потому что пустой желудок не позволяет душе отвлечься. Для них окружающий мир слишком велик. Они никогда не уверены в своей следующей трапезе, а поэтому не могут думать ни о чем, кроме этой следующей трапезы.

Медленно тянулись два следующих часа. Старый выживший из ума «папаша» теперь сидел тихо, спина его была согнута, как дуга лука, из воспаленных глаз на пол медленно капали слезы. Джордж, старый грязный бродяга, известный странной привычкой спать, не снимая шляпы, жаловался, что где-то в дороге потерял благотворительный пакет с продуктами. Попрошайка Билл с фигурой, какой не мог похвастать ни один из нас, нищий, обладавший геркулесовой силой, от которого пахло пивом даже после две-

надцати часов, проведенных в ночлежке, травил байки про жизнь попрошайек, про то, сколько кружек пива он способен выпить в забегаловке, про священника, который стучал полиции и получил семь суток. Уильям и Фред, два бывших молодых рыбака из Норфолка, пели грустную песню об обманутой несчастной Белле, которая замерзла на морозе в снегу. Слабоумный нес околесицу о каком-то воображаемом барине, который дал ему двести пятьдесят фунтов — семь золотых соверенов. Так тянулось время — под скучные разговоры и скучную ругань. Все курили, кроме Скотти, у которого табак отобрали и который без курева чувствовал себя таким несчастным и обездоленным, что я дал ему бумаги и табака на самокрутку. Курили мы втихаря, как школьники, пряча сигареты, когда слышали шаги коменданта, потому что, хоть на курение и смотрели сквозь пальцы, официально оно было запрещено.

Большинство бродяг проводили по десять часов кряду в этой жуткой комнате. Трудно представить себе, как они это выдерживали. Я начал думать, что скука — самое тяжелое испытание для бродяги, хуже, чем голод и неудобства, хуже, чем постоянное ощущение своей социальной униженности. Жестокая глупость — целый день держать невежественного человека без дела — все равно что сажать собаку на цепь в бочке. Лишь образованный человек, умеющий находить уте-

шение в собственном внутреннем мире, способен вынести такое заключение. Бродяги, почти сплошь безграмотные, воспринимают свою нищету слепым, неизобретательным разумом. Пригвожденные на десять часов к неудобной скамейке, они не знают, чем занять себя, изнывают по какой-нибудь работе, и если мысли бродят в их голове, так это жалобные мысли о своей тяжелой участи. Нет у них ничего, что помогло бы преодолеть тоску безделья. А поскольку в безделье проходит большая часть их жизни, они смертельно страдают от этой тоски.

Мне повезло больше, чем другим, потому что в десять часов комендант выдернул меня из столовой, чтобы приставить к занятию, самому желанному для обитателя ночлежки, — помогать на кухне в работном доме. Вообще-то никакой особой работы там не было, так что я имел возможность слинять и прохладиться в сарае, где хранили картошку, вместе с несколькими нищими из работного дома, которые прятались там, чтобы не идти на утреннюю воскресную службу. В сарае топилась печка, имелись удобные упаковочные ящики, на которых можно было сидеть, старые номера «Фэмили геральд» и даже экземпляр Раффлза¹ из библиотеки ра-

¹ Имеется в виду Артур Раффлз — главный персонаж серии популярнейших криминальных рассказов Эрнеста Уильяма Хорнунга. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.*

ботного дома. После ночлежки это место казалось раем.

Обед я получил со стола работного дома, и это была одна из самых больших тарелок, какие мне когда-либо доставались. Бродяга и двух раз в году не видит такой обильной еды, в ночлежке ли или за ее пределами. Нищие обитатели работного дома говорили мне, что ходят голодными шесть дней в неделю, но по воскресеньям всегда наедаются так, что у них чуть не лопаются животы. Когда обед закончился, повар велел мне вымыть посуду и выбросить оставшуюся еду. Остатков оказалось невероятное количество; огромные тарелки с мясом, полные ведра хлеба и овощей выкидывали на помойку и заваливали спитой чайной заваркой. Я с верхом заполнил хорошей едой пять мусорных ящиков. А мои товарищи-бродяги в это время сидели в двухстах ярдах от меня, с желудками, лишь слегка заполненными ночлежным обедом, — традиционным хлебом с чаем и, может быть, парой вареных картофелин в честь воскресенья. Создавалось впечатление, что еду выбрасывали намеренно: лучше выбросить, чем отдать бродягам.

В три часа я ушел из работного дома и вернулся в ночлежку. Тоска, царившая в переполненном, лишенном каких бы то ни было удобств помещении, теперь казалась вовсе невыносимой. Даже курение прекратилось, потому что единственное доступное бродяге курево — это

подобранные с земли сигаретные окурки, и он, как зверь, живущий на подножном корму, испытывает муки, сравнимые с муками голода, если надолго оказывается вдали от своего пастбища-тротуара. Чтобы убить время, я разговаривал с весьма образованным бродягой, молодым плотником, носившим рубашку с воротником и галстук. Плотник этот, по его словам, пустился в скитания потому, что у него не было инструментов для работы. Он немного сторонился других бездомных и держался скорее как свободный человек, нежели как бродяга. А также было у него пристрастие к чтению, и он повсюду носил с собой один из романов Скотта. Он сообщил мне, что никогда не заходит в ночлежку, если только его не загоняет туда голод, а предпочитает спать в придорожных кустах или в стогах сена. Скитаясь вдоль южного побережья, он днем просил милостыню, а ночью иногда неделями спал на пляже в кабинках для переодевания.

Мы рассуждали о скитальческой жизни. Он ругал систему, заставляющую человека четырнадцать часов в сутки проводить в ночлежке, а остальные десять бродить и прятаться от полиции, рассказал о своем собственном случае: полгода на государственном обеспечении по бедности из-за невозможности приобрести набор инструментов стоимостью в три фунта. Это же идиотизм, сказал он.

Потом я поведал ему о том, как в рабочном доме выбрасывают остатки еды с кухни, и о том, что я думаю по этому поводу. Тут тон его немедленно изменился. Я видел, как в нем пробудился прихожанин, оплачивающий постоянное место в церкви, который дремлет в любом английском рабочем. Хотя, как и остальные, умирал от голода, он сразу же нашел причины, по которым еду лучше выбрасывать, чем отдавать бродягам, и весьма сурово отчитал меня.

— Они вынуждены так поступать, — заметил он. — Если сделать такие места, как это, слишком привлекательными, то в них хлынут отбросы общества со всей страны. Сейчас их удерживает только плохая еда. Эти бродяги слишком ленивы, чтобы работать, все дело в этом. Их нельзя поощрять. Они — отбросы общества.

Я привел свои аргументы, чтобы доказать его неправоту, но он не слушал, только повторял:

— Этих бродяг не следует жалеть — они отбросы. Их нельзя мерить по тем же меркам, что и людей вроде нас с вами. Они отбросы, просто отбросы.

Было интересно наблюдать, как упорно он отделял себя от таких же бродяг. Он скитался уже полгода, но, как можно было понять, не считал себя бродягой перед лицом Господа. Тело его могло пребывать в ночлежке, но дух парил где-то далеко, в чистых кругах среднего класса.